

© 2024. А. В. Гулин

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Москва и Наполеон в романе «Евгений Онегин»: соотнесение смыслов

Аннотация: Статья посвящена изучению «наполеоновской» строфы XXXVII из Седьмой главы романа «Евгений Онегин» в контексте поэтики, проблематики и духовного идеала произведения. Существующая у Пушкина аналогия образных пар «Наполеон — Москва» и «Онегин — Татьяна» рассматривается как важнейшая и смыслообразующая. Упоминание единственного в романе исторического лица, выступающего в конкретно-исторической ситуации, определяется как чрезвычайное для художественного строя «Евгения Онегина» и во многом организующее пушкинскую иерархию смыслов. Выявляется место лирического отступления среди многочисленных пушкинских прозрений тайны личности Наполеона. С привлечением материалов по истории 1812 г. применительно к роману раскрывается более ранняя в творчестве Пушкина всеобъемлющая поэтическая формула «великодушный пожар». Пожар Москвы и жертва Татьяны рассматриваются как осуществление и победа христианских ценностей. В пушкинском описании исторического события и финальном объяснении Онегина и Татьяны обнаруживается глубинное единство национального духовного кода, отвергающего на всех уровнях повествования наполеоновский жизненный принцип и вечно торжествующего над мировой смутой.

Ключевые слова: Пушкин, «Евгений Онегин», 1812 год, Наполеон, пожар Москвы, Татьяна Ларина, иерархия смыслов.

Информация об авторе: Александр Вадимович Гулин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9758-3681>

E-mail: gulinimli@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 20.07.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 13.09.2024

Дата публикации статьи: 25.12.2024

Для цитирования: Гулин А. В. Москва и Наполеон в романе «Евгений Онегин»: соотнесение смыслов // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 4. С. 38–63. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-4-38-63>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 4, 2024, pp. 38–63. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 4, 2024, pp. 38–63. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. **Alexander V. Gulin**
A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

Moscow and Napoleon in the Novel “Eugene Onegin”: Correlation of Meanings

Abstract: The article examines the “Napoleonic” stanza XXXVII from the Seventh Chapter of the novel “Eugene Onegin” in the context of poetics, problematics, and the spiritual ideal of the work. Pushkin’s analogy of the figurative pairs “Napoleon — Moscow” and “Onegin — Tatiana” appears the most important and meaningful. The research demonstrates that mentioning the only historical person in the novel acting in a concrete historical situation is extraordinary for the artistic system of “Eugene Onegin” and largely organizes Pushkin’s hierarchy of meanings. The article reveals the place of the lyrical digression from the novel among Pushkin’s numerous insights into the mystery of Napoleon’s personality. The involvement of historical materials from 1812 helps to disclose the comprehensive poetic formula of “generous fire” from earlier Pushkin’s works. The fire of Moscow and Tatiana’s sacrifice are seen as the realization and victory of Christian life values. Pushkin’s description of the historical event and the final explanation of Onegin and Tatiana reveals a profound unity of the national spiritual code, rejecting the Napoleonic principle of life and eternally triumphant over the world turmoil.

Keywords: Pushkin, “Eugene Onegin,” 1812, Napoleon, the fire of Moscow, Tatyana Larina, hierarchy of meanings.

Information about the author: Alexander V. Gulin, DSc in Philology, Leading Research Fellow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9758-3681>

E-mail: gulinimli@yandex.ru

Received: July 20, 2024

Approved after reviewing: September 13, 2024

Published: December 25, 2024

For citation: Gulin, A. V. “Moscow and Napoleon in the Novel ‘Eugene Onegin’: Correlation of Meanings.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 4, 2024, pp. 38–63. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-4-38-63>

У этой статьи есть своя предыстория. Около десяти лет назад автор писал довольно обширное вступление к изданию русской поэзии, посвященной Отечественной войне 1812 г. Неожиданно весь ход наблюдений привел нас к мысли о том, что в романе «Евгений Онегин» существует глубинное родство двух «образных пар»: Наполеон — Москва, и Онегин — Татьяна, что исторический сюжет, однажды возникающий у Пушкина, появляется именно в связи с развитием основной сюжетной линии произведения.

В итоге был написан такой период: «Народная память навсегда сохранила <...> слова поэта о “нетерпеливом герое”, напрасно ожидающем

Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля...

Эти слова в лирическом отступлении из седьмой главы “Евгения Онегина” внутренне связаны со всем строем произведения. Одаренная “сердечной полнотой” дорогая Пушкину Татьяна Ларина впервые встречается тут с Москвой — городом — и началом всех начал для русского сердца. Именно в этой главе Татьяне уже открылся истинный облик любимого девушкой Онегина — “модного тирана”. В этой главе решится ее судьба. И хотя в будущем ей предстоят новые встречи с Онегиным — пораженный нравственным недугом, опустошенный герой уже бессилен перед обреченной праведно страдать Татьяной, перед высокой радостью русского мира, как бессилен Наполеон перед обреченной пожару Москвой. Завладевшее Онегиным безжизненное вселенское начало и на этот раз терпит, не может не потерпеть поражение» [Гулин: 39–40].

Попытки найти подтверждение этим наблюдениям в научной литературе, посвященной роману, тогда не увенчались успехом. Частичная их поддержка обнаружилась не так давно, после переиздания статьи

В. С. Непомнящего 1999 г., где задолго до наших скромных рассуждений было сказано: «Таким образом, сюжет седьмой главы и в самом деле выводит роман на новый уровень смысла. Поступку Татьяны — ее решению, ее поездке в Москву — Пушкин придает символический, исторический, героический характер (о котором сама Татьяна, конечно, и не подозревает), помещает этот поступок в контекст темы спасения Отечества, жертвы во имя Родины, жертвы, сходной с жертвой Жанны д'Арк и Москвы — горящей, но не склоняющей головы перед чужеземцем, задумавшим поработить Россию» [Непомнящий: 393–394]. Мысли о готовности к подвигу французской героини Жанны д'Арк и решении Татьяны Лариной ехать в Москву убедительно доказаны здесь (в развитие замечания из комментария Ю. М. Лотмана) сопоставлением строфы из седьмой главы романа со стихами из перевода драмы Шиллера «Орлеанская дева», выполненного В. А. Жуковским.

Совсем недавно в ином, эсхатологическом контексте сходные суждения о Наполеоне — Онегине и Москве — Татьяне высказал О. В. Кириченко. Возможно, подобные сопоставления возникали и где-нибудь еще в литературе о Пушкине, наверняка делались они и просто внимательными читателями «Евгения Онегина». Не подлежит сомнению главное: исторические происшествия 1812 г. (поэтически отображенные Пушкиным) и художественный строй восьмой главы романа, включая финальное объяснение героев, даже не будучи соотнесенными в сознании русских поколений, навсегда вошли в национальный культурный код.

Конечно, подобного рода соотнесения имеют у Пушкина свои границы. Убедительные в одном, дойдя до известного предела, они не получают подтверждения в другом, что способно уже за этим пределом приводить увлеченного исследователя к откровенным домыслам. Роману «Евгений Онегин» и творческой вселенной Пушкина в целом не свойственна прямая, безукоризненно продуманная логика движения образов, картин, положений, идейного строя и проблематики. Здесь не найти (на что проникновенно обратил внимание Ю. В. Лебедев [см. Лебедев: 225]) совершенного «замыкания сводов», полностью выверенной композиции, той внешней, формальной завершенности, которой блещут, например, живописные творения мастеров европейского Ренессанса. Отсюда и невозможность в случае с Пушкиным — больше, чем с кем бы то ни было из русских писателей, «поверить алгеброй

гармонию», произнести, о чем бы ни заходила речь, сколько-нибудь окончательное, безотносительное суждение. Отсюда порой возникает и своеобразная иллюзия «мерцающих смыслов», как называл это явление в кругу пушкинистов недавно ушедший от нас выдающийся исследователь В. А. Кожевников.

Между тем, пушкинские смыслы, конечно, могут временами «мерцать» для читателя, исследователя, но не для самого поэта, который в любом своем творении выстраивает только ему известную в полной мере (и всегда безупречную) смысловую иерархию. Так же, как это происходит с явленными и сокровенными чудесами в жизни Церкви, пушкинская логика — в основе своей надмирная, хотя и пребывающая в мире. Это как свидетельство о промысле Божиим, которое в сознании земного человека трудно согласуется со всем, что ему привычно в более или менее знакомой жизни.

Пушкин без тени самоуничтожения, прекрасно сознавая масштаб им созданного, говорил о своем романе:

...собрание пестрых глав,
Полу-смешных, полу-печальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав... [Пушкин 6: 4]

Слова из посвящения к «Евгению Онегину» легко соотносятся с наблюдением — собственно в романе, другой небрежности — в духе и смысле письма Татьяны:

Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность? [Пушкин 6: 65]

Находя в «Евгении Онегине» внутренние аналогии, проекции, смысловые соотнесения, мы невольно учитываем и те противоречия (с точки зрения мирских понятий), о которых говорил Пушкин, заканчивая первую главу романа:

Пересмотрел все это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу... [Пушкин 6: 30].

«Не хочу», потому что речь идет о противоречиях с точки зрения мирского, логического или душевно-сентиментального разума вещей. А Пушкин говорит с нами языком поэтических откровений, которые не могут, подобно откровениям в духовной области, несмотря на свою совершенную красоту, быть до конца доступны и прозрачны. «Небрежность» в романе — синоним вдохновения, непреднамеренности, единственного и наилучшего пути познания мира. Вопреки земным противоречиям Пушкин уже в 1823 г. провидит пути творческого разрешения своих «Ума холодных наблюдений / И сердца горестных замет». Среди причин, которые определяют непостижимое единство пушкинского романа (а он создавался, по разным оценкам, на протяжении восьми или девяти лет, отмеченных громадными переменами и в русской жизни, и в судьбе поэта), важнейшая — доверие Пушкина к высшему промыслу о себе — небесном избраннике, и верном этому призванию собственном творческом служении.

Разумеется, «двойная» аналогия «Онегин — Татьяна и Наполеон — Москва» (Можно сказать иначе: «Онегин перед Татьяной и Наполеон перед Москвой») — только одна из многих смысловых линий, важных для понимания происходящего в заключительных главах романа и всего романа в целом. Но все же она существует, сообщая произведению самую высокую меру вещей.

Явление Наполеона в седьмой главе «Евгения Онегина» по меркам пушкинского романа исключительное. «Евгений Онегин» — роман не политический. Да, пожалуй, и не совсем энциклопедический. Известное определение Белинского было естественным для изумленного современника; вполне очевидно, что на протяжении полутора столетий оно отвечало и все более секулярным, горизонтальным, «онегинским» понятиям русского общества о себе и о мире. Тем не менее, оно не в силах охватить пушкинский роман уже хотя бы в силу своей механистичности. Не вмещает оно и ту не знающую себе подобных «энциклопедию русской души», которая образует в романе его неподражаемый тон и глубину. Нет в пушкинском «Евгении Онегине» ни политической, ни военной, ни церковной жизни. Возможное тому объяснение — «поднадзорность» поэта, отправленного служить в Молдавию и Новороссию — за «вольнодумчество», сосланного в Михайловское — за «уроки чистого афеизма». Но если привходящие жизненные обстоятельства и могли отразиться на замысле романа и последующей работе над ним,

то в свою очередь, смиряя поэта, они стали источником неисчерпаемых возможностей. Десятая глава «Евгения Онегина» (возможно, связанная с политическими реалиями современности), как известно, была сожжена поэтом в Болдине, а знаменитые «политические» и «декабристские» строфы (не имевшие отношения к десятой главе, что было в последнее время убедительно доказано В. А. Кожевниковым [см. Кожевников]) — оказались зашифрованы и в роман не вошли. Делалось это не только из цензурных соображений. Попытки отразить в романе исторические и политически злободневные сюжеты оказались не только опасны, но и неорганичны поэтическому строю «Евгения Онегина». Не названные «запретные» области бытия в итоге раскрывались «из глубины», сбывались сокровенно в судьбах вымышленных действующих лиц и в показанной Пушкиным русской повседневности.

Наполеон — единственное лицо из огромной области: военной, государственной, политической, названное по имени не в черновиках, но в каноническом тексте произведения. И является он в качестве конкретного исторического лица именно в «татьянинской», «московской» главе. Является первоначально не названный, но легко узнаваемый в настольной статуэтке («столбик с куклой чугунной») из кабинета главного героя именно в связи с уже отсутствующим здесь Онегиным. Первоначально же в романе Наполеон предстает как человек-идея, принцип, готовый утвердиться в мире. Как таковой он упоминается в знаменитом пассаже из второй главы «Мы все глядим в Наполеоны...». Но в XXXVII строфе главы седьмой он получает уже конкретно-историческое отображение:

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.

О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай [Пушкин 6: 177].

Смысловая иерархия романа (но не «мерцание смыслов») допускает и вполне достоверные прочтения сказанного Пушкиным на этом обладающем собственной поэзией эмоционально-психологическом «этаже» повествования. Так финальная встреча Онегина и Татьяны нередко получала в пушкиноведении своего рода «экзистенциальные» оценки. К примеру, оригинальный исследователь метафизики Пушкина А. С. Позов говорил: «Нужна искра, нужно исключительное счастье, когда человек встречается своего антипода и пробуждается первожданность. В этом отношении герои Пушкина, Татьяна и Онегин, подлинно счастливы, несмотря на внешнее несчастье, неразделенность земной любви и одностороннее непонимание» [Позов: 76]. В свою очередь, замечательный современный исследователь А. Н. Романова предлагает иную, и тоже убедительную интерпретацию финала «Евгения Онегина»: «Но эта злая минута не оставляет в нас безотрадного чувства. Может быть потому, что хоть на минуту, но души любящих Онегина и Татьяны встретились. Целый миг душевной близости, полного гармонического единства сердец подарила им жизнь...» [Романова: 369]. То и другое суждения ни в коей мере не противоречат смыслу сказанного Пушкиным, и больше — раскрывают в романе новые и новые смысловые оттенки...

Тем не менее, «наполеоновская» строфа седьмой главы своим появлением окончательно сообщила всему, что происходит в романе — тому, что уже сказано, и о чем Пушкину еще только предстоит сказать, также и другой, вселенский масштаб. «...Повествование, близящееся уже к концу, — справедливо заметил в связи с развязкой романа В. С. Непомнящий, — вступает здесь в новую, высшую, эпическую фазу, — ибо дело коснулось судеб России и русского человека, а это — проблема всемирно-исторического масштаба» [Непомнящий: 396]. Не потому ли картины позднего прозрения героя, его последнее объ-

яснение с Татьяной притягивают, как магнит, уже не одно поколение исследователей, интерпретаторов романа? Собственно, это измерение подспудно намечалось в стихах «Евгения Онегина» изначально.

Применительно к пушкинскому роману давно стало общим местом говорить о «русской душою» Татьяне. Однако можно сказать и больше: именно образ Татьяны, в первую очередь, сообщил «Евгению Онегину» его неподражаемо теплую, единственную даже у Пушкина, тональность всепокоряющей, всепобеждающей сердечности — тональность безошибочно русскую. Не случайно в своей знаменитой Пушкинской речи Ф. М. Достоевский говорил, что, по справедливости, главным действующим лицом произведения должна быть признана именно Татьяна Ларина.

Вместе с тем очевидно, что образ Татьяны — от самого момента своего появления в романе, помимо психологической мотивации переживаний и поступков неопытной девушки, был отнесен к неким таинственным духовным истокам, вечно оживляющим человека и мир. «...Пора пришла, она влюбилась» — самое трогательное свидетельство первой и по строгому счету всегда единственной (так должно быть!) любви. Но его продолжает и одна из несущих в романе поэтических формул: «Так в землю падшее зерно / Весны огнем оживлено». И сама эта изумительная формула — тоже зерно, постепенно оживающее в романе. Разумеется, в силу своей универсальности она допускает множество разных прочтений. Одно из них, вполне возможное и даже необходимое — таинственное нисхождение в мир великого творящего огня, созидающего жизнь, истребляющего всякую скверну. Но и вдумчивое сопоставление с евангельской притчей о горчичном зерне, пожалуй, не выглядит в отношении этой формулы невозможным и своевольным: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13: 31–32).

Москва и Татьяна Ларина в романе Пушкина — два вечно женственных образа, их родство очевидно, неоспоримо. «Наполеоновской» строфе седьмой главы, помещенной в контекст первой встречи Татьяны с Москвой, предшествует лирическое отступление автора о собственном возвращении в родной город (в сентябре 1826 г. Пушкин

увидел Москву после долгих лет разлуки и въезжал на ее улицы, как и Татьяна, через Тверскую заставу). Тут является также неподражаемое по своему русскому тону, единственное в романе «простосердечное» обращение к читателям — «братцы»:

Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церковей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг! [Пушкин 6: 154]

И тут же звучит ныне хрестоматийное: «Москва... как много в этом звуке / Для сердца русского слилось! / Как много в нем отозвалось!» [Пушкин 6: 155].

«Моя Москва», «моя Татьяна» — та и другая неразделимы в сердечных привязанностях поэта. Идеал женщины, который, как происходит обычно в России, сливается для русского мужчины с образом Родины. Две хранительницы народного чувства, народного духа в романе. Исток этого чувства, этого духа, прямо не названный Пушкиным, — великая христианская любовь. Москва — дом Пресвятой Богородицы, сходящий с Небес на землю Новый Иерусалим, Третий Рим, и Татьяна — в недалеком будущем праведная хранительница духовной Святыни и данного перед Богом брачного обетования.

Исторический император Наполеон, кажется, так же легко соотносится в романе с центральным героем «Евгения Онегина» — и так же не буквально, а глубинно, сущностно. Наполеоновское начало в образе героя наиболее полно среди отечественных пушкинистов, безусловно, раскрыл В. С. Непомнящий. Проведенный ученым анализ того, как в Онегине сбывается просветительский, наполеоновский идеал человека — «потребителя Вселенной» [Непомнящий: 368–372], можно было бы считать образцовым, если бы не «ахиллесова пята» многих работ ученого — упорное противопоставление Пушкина и национальной духовной традиции деяниям Петра Великого (про Онегина Непомнящий однажды говорит, что он — «Петра творенье»).

И так же, как это происходило в истории с Наполеоном и Москвой, Татьяна в романе отторгает Онегина с его запоздалым раскаянием. Оба помраченных персонажа посрамлены. Одинаково слышна как в отно-

шении Наполеона, так и в отношении Онегина — двух незадачливых претендентов на разрушение Святыни, авторская ирония или даже откровенная «неблагосклонность». Один — «нетерпеливый герой» (это определение легко можно отнести также и к Онегину), о другом сказано: «Довольно он морочил свет...». Далее Пушкин неприязненно пошутит над своим Евгением:

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил,
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил! [Пушкин 6: 184]

Любуясь духовным величием Москвы и Татьяны, поэт, конечно, вполне сочувствует воздаянию, полученному в романе «нетерпеливыми героями» (тут вспоминается найденное Львом Толстым вослед Пушкину, и тоже в связи с Наполеоном, определение: «Лживая форма европейского героя» [Толстой: 185–186]). Но смысл написанного Пушкиным, естественно, не сводится только к отторжению или посрамлению этих персонажей и воплощенных в каждом из них смертельных мировых начал.

Пожар Москвы 1812 г. — неисчерпаемая тема русской и мировой истории. Здесь приоткрыты многие тайны эсхатологического движения человеческого рода, явлены несомненные чудеса. Задолго до создания и тем более завершения «Евгения Онегина» в написанной на смерть «изгнанника Вселенной» оде «Наполеон» (1821) Пушкин нашел по-своему всеобъемлющее определение этого события:

Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал... [Пушкин 2. 1: 215].

Формула «великодушный пожар» — одна из наиболее «вместительных» и не до конца разгаданных в творчестве поэта. Она включает в себя самый широкий диапазон смыслов.

Своеобразным пояснением к ней, конечно, может служить у Пушкина фрагмент из прозаического отрывка, ныне известного как «Рославлев». По прошествии десяти лет со времени появления оды «Наполеон», уже по завершении «Евгения Онегина», поэт снова вернулся к теме пожара древней столицы и употребил почти тот же самый словесный оборот. Один из центральных персонажей неоконченного произведения, французский пленник Синекур при известии о том, что Москва охвачена огнем, воскликнет: «...русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие!» [Пушкин 8. 1: 157]. Эти слова тут же отзвучат в размышлениях Полины:

— Неужели, — сказала она, — Синекур прав, и пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу [Пушкин 8. 1: 157].

Таким образом, можно допустить, что «великодушие» в том и другом случае понималось Пушкиным как гротескно-ироническое в контексте подлинного события радушие или гостеприимство, а также как самопожертвование. Мысль о «скифской войне», о решимости наносящего себе увечье, дабы не служить врагам, римского гражданина Муция Сцеволы, были весьма популярны среди русских участников событий 1812 г. Несомненно, образ великого современного потрясения в значительной степени складывался у поэта также под воздействием массовых патриотических клише и широко распространенных в культуре эпохи исторических символов. Преодоление, а точнее, включение таковых в бесконечно сложную картину войны с Наполеоном как раз во многом и составило смысл периодических обращений поэта к событиям недавнего прошлого.

У Пушкина нет сколько-нибудь однозначных высказываний о причинах московского пожара, однако многое в его поэтических образах позволяет думать, что мысль о жертвенном самосожжении не была чуждой поэту. В этом смысле «великодушный пожар» тоже становился, под стать размышлениям пушкинских Синекура и Полины, частичным выражением современных представлений о грандиозном историческом событии.

Между тем, насколько можно судить, «великодушие» — даже с точки зрения русского языка первой половины XIX в., не было синонимом все-таки вполне самостоятельных слов «радушие» или «гостеприимство», не сводилось его значение и к понятию жертвенности. Так, в синодальном переводе посланий святого Апостола Павла слово «великодушие» без каких-либо пояснений трижды используется для обозначения одной из христианских добродетелей. В аналогичных местах церковнославянского текста та же добродетель именуется «долготерпением», которое названо в одном ряду с другой добродетелью — просто «терпением». В том же христианском смысле объяснял это слово и В. И. Даль: «Великодушие — свойство переносить кротко все превратности жизни, прощать все обиды, всегда доброжелательствовать и творить добро; противополож. малодушие. Великодушный, обладающий свойством этим» [Даль: 155]. Вместе с тем, послужившее основой для русского слова греческое «megalopsychia» (образованное словами «большой» и «душа») изначально предполагало множественные смыслы.

Независимо от человеческих пристрастий и намерений поэта (тем более в 1821 г.) пушкинское вдохновение чудесно соединило все эти смыслы — внятные современникам и те, которые, возможно, открываются нам только сегодня или откроются завтра нашим потомкам. До некоторой степени в данной Пушкиным формуле можно увидеть весь 1812 г., и нет сколько-нибудь значительного явления того времени, которое бы она не охватывала. Именно Москва объединяет в себе дух, события, силы, смыслы 1812 г., а московский пожар — непостижимая вершина этого собрания. Так же и пушкинский образ, внутренне неотделимый от образа пылающей Москвы, стягивает и возносит на высоту весь русский мир героической эпохи. При этом формула «великодушный пожар» несет в себе глубинную нерасторжимость материального и духовного. И в этом она тоже во всем под стать сгорающей Москве, где материальный град словно поднимается навстречу граду духовному и в какие-то мгновения сливается с ним воедино.

Комментировать пушкинскую формулу в этом случае почти бессмысленно, поскольку полноценным комментарием к ней может стать только полный объем исторических сведений о 1812 г. Тем не менее, выделить ее ключевые (и конечно, связанные между собой) значения вполне возможно. И первым, самым очевидным из них окажется вос-

торг, восхождение души от временного к вечному, от ложного к подлинному.

Однако не менее значительным выглядит здесь и евангельское понятие о великодушии как долготерпении, прощении обид, готовности переносить страдания, безропотно принимать промысел Божий о себе, а в контексте 1812 г. — и о своей стране. Рассказы очевидцев московского пожара и плена полны свидетельствами такого рода. Собственно, уже оставление Москвы понималось многими как смиренное исполнение Высшей воли. «Неизменна воля Свыше Управляющего царствами и народами, — писал Ф. Н. Глинка, видевший последние часы старой столицы. — В пламенном, сердечном уповании на Сего Правителя судеб россияне с мужественной твердостью уступили первейший из градусов своих, желая сею частною жертвою искупить целое Отечество» [Глинка: 186].

История московского пожара и разорения в 1812 г. нередко с поразительной очевидностью разворачивается как бы вослед евангельским событиям или отражению их в церковном календаре. Пожар Москвы как полномасштабное бедствие начинается в день 4(16) сентября, когда прославляется чудотворная икона Богородицы «Неопалимая Купина», и затухает 8 (20) сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. От первого сражения за Шевардинский редут на Бородинском поле до полного освобождения Москвы проходит ровно 49 дней — срок Великого поста со Страстной седмицей. Время от вступления Наполеона в Москву до полного оставления французами старой столицы — ровно 40 дней — срок посмертных испытаний человеческой души. Получают также особое значение свидетельства о широко известном обстоятельстве московского плена. ««Главным, общим мучением были тогда ноши», — рассказывал очевидец событий П. Г. Кичеев [Кичеев: 63]. По словам другого москвича, «французы заставляли попадающихся им навстречу нести их ноши и добычи; хозяин из своего собственного дома должен был свое же имущество нести за ними на их квартиры, не взирая ни на какое лицо, в сие время нельзя уже было различить генерала с последним мужиком, одеяния всех были равны» [П... Ф...: 29]. Известны случаи, когда ослабевших под непосильной тяжестью поднимали всевозможным истязаниями, заставляя следовать дальше. Так праведная Москва совершала свой крестный путь вослед Христу Спасителю.

Вместе с тем человеческое великодушие неотделимо в пушкинской формуле (с необходимыми оговорками) и от великодушного высшего участия в судьбе человека и страны. Московский пожар 1812 г. часто представлялся русским людям того времени грозной карой — и спасением, милостью Божией. Действительно, кто бы или что бы ни зажгло Москву — оставленные графом Ф. В. Ростопчиным поджигатели, французские солдаты, неосторожно разводившие бивачные огни посреди деревянных строений, или просто одна из бесчисленных случайностей, трудно избавиться от впечатления, что это не был огонь всего лишь земной, материальный, что вместе с ним на Москву снизошел огонь духовный — истребляющий и целящий. Посетивший город как дивное причастие, он выжигал всякую скверну, обрекал гибели любую нечистоту.

Пушкинская формула «великодушный пожар» во многих отношениях созвучна пастырскому слову в ту пору еще московского викария, а в скором времени архиепископа преосвященного Августина, произнесенному в 1813 г.:

Сколь ни жестоки были искушения, постигшие нас, но они весьма малы в сравнении тех великих и неисчислимых милостей, какие после удивил Господь над нами. Тучи бедствий, нашедшие на нас, разродились наконец не столько бедствиями, сколько щедротами небесной благодати, громы Гнева Божия не столько поразили, сколько оживотворили нас. Они молниями своими воспламенили в сердцах наших веру в Бога, верность Царю, любовь к Отечеству [Преосвященный Августин: 8–9].

Великодушие в данном случае — это и подвиг, и долготерпение, и праведное страдание. Это Божие участие в судьбах страны и народа. Это вера и верность. В «наполеоновской» строфе главы седьмой и в последней главе «Евгения Онегина» мы подходим еще к одному возможному значению пушкинского «великодушного пожара», которое с точки зрения обыденного житейского сознания, пожалуй, выглядит вполне парадоксальным. Разумеется, русским людям той поры часто было не до милости к падшим. Тем не менее, эта живая, любящая Москва, горевшая, не стора, смиренно возлагала на себя в те страшные для нее и великие дни грехи всего человечества, великодушно испускала, омывала беззаконие каждого из живущих. Она расцветала иной

жизнью, ни в чем не подвластной ее захватчикам — и тем самым светила всему миру, всем живущим, даже тем из них, кто не был способен различать этот свет и продолжал ругаться над ним.

Историческая сцена бесславного вступления завоевателя в Москву позднее еще раз отзовется у Пушкина в стихотворении 1830 г. «Герой», словами о том, что «...Москва пустынно блещет, / Его приемля, — и молчит...» [Пушкин 3. 1: 252]. Но пожар, который готовит Москва «нетерпеливому герою», в полном согласии с духом 1812 г. — не только самоистребление. В развитие более ранней формулы «великодушного пожара» — это духовный огонь, возвышающий смиренную Москву, и не только посрамляющий, но изумляющий, а затем и погружающий в думу гордого завоевателя. До некоторой степени пожар — это акт милосердия по отношению к Наполеону, возмечтавшему состояться как лжемессия Антихрист (о чем Святейший Синод Русской православной церкви объявил еще в декабре 1806 г.), но встретившему внезапно преткновение своим безумным планам.

Образ Наполеона — «властителя осужденного» — складывался в творчестве Пушкина не диалектически. Как и всегда у поэта эволюция имела тут самое незначительное место — скорее, можно говорить о новых творческих озарениях, прорывающих завесу исторической тайны. При этом новые прозрения не уничтожали старые, но соединялись поэтическим словом на огромной духовной высоте, дополняя и усложняя уже существующую картину. И уж тем более мы не встретим у Пушкина откровенно мстительного чувства по отношению к «великому человеку». Такая позиция раз и навсегда отвергалась последней строфой оды «Наполеон»: «Хвала!.. он русскому народу / Высокий жребий указал...» [Пушкин 2. 1: 216]. Слишком серьезный, прикосновенный к мировым тайнам сюжет открывался тут поэту. К тому же в наполеоновской теме Пушкин из года в год осуществлял некий сквозной для его творчества принцип «справедливости» (как называл это Л. В. Пумпянский [Пумпянский]), предполагающий исчерпание всех возможных для человека, для того или иного жизненного явления смыслов и вариантов развития.

И вместе с тем пушкинская «справедливость» (о чем, кажется, мало задумывался известный исследователь) никогда не была всего лишь

горизонтальным «накоплением» признаков и суждений. В ней билось русское сердце, выстраивалась русская смысловая вертикаль, вечно одушевленная безупречными и прекрасными формами языка. Ужас наполеоновских завоеваний, холодный цинизм, тиранство, презрение к человечеству и человечности, — наконец, наполеоновское богоборчество — все получило у Пушкина предельно ясное свое выражение. «О ты, чьей памятью кровавой / Мир долго, долго будет полн...» [Пушкин 2. 1: 213], — звучало в пушкинской оде на смерть «великого человека». «Зло воинственных чудес», «хладный кровопийца», «наглая воля», — все это окончательные, не подлежащие пересмотру определения сути и смысла деяний французского императора. Победа над Наполеоном была вдохновенно воспета и прославлена Пушкиным на века.

Тем не менее, характер Наполеона раскрывался поэтом во всех возможностях его развития — сбывшихся и несбывшихся. И действительно, в судьбе и поступках несостоявшегося Антихриста, и даже в его политике можно обнаружить также и вполне живые, человеческие начала. Таковым выглядит, например, кратковременное сближение Наполеона с императором Павлом Петровичем, оборванное злодейским убийством последнего, и даже отдельные моменты его отношений с царем Александром Павловичем. Именно в связи с Наполеоном прозвучало у Пушкина знаменитое ныне:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман. . .
Оставь герою сердце... Что же
Он будет без него? Тиран. . . [Пушкин 3. 1: 253].

Нет, не только тиранство и демонизм угадывал здесь Пушкин. Строфа о Наполеоне из седьмой главы «Евгения Онегина» близка по времени написания пушкинскому стихотворению «Ангел» (1827):

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, — он рек, — тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал» [Пушкин 3. 1: 59].

Разве не могло происходить и с Наполеоном нечто подобное в пору его пребывания в поруганной и все же непоругаемой Москве? Не оттого ли настолько примирительным, полным глубокой печали оказалось последнее в творчестве Пушкина упоминание о знаменитом корсиканце: «...И на скале изгнанником забвенным, / Всему чужой угас Наполеон» [Пушкин 3. 1: 433]? Хочется верить, что московский пожар в контексте «наполеоновской» строфы из «Евгения Онегина» — это еще и возможность, хотя и не сбывшегося, но все-таки позднего вразумления и раскаяния. Нечто подобное потом повторится у Пушкина в романе «Капитанская дочка» — по отношению к Пугачеву, о покаянии которого будет неустанно думать чистый сердцем рассказчик — Петр Андреевич Гринев.

У современного русского человека с доставшимся ему опытом кровавых потрясений XX в., в том числе, у автора этой статьи, подобный взгляд на возмутителей национального мира и его исторических недругов почти неизбежно вызывает протест, по меньшей мере, вполне понятное недоумение. Слишком много чудовищных, бесноватых, духовно ничтожных персонажей покушались и покушаются на Россию в ее новейшей истории. Разумеется, Пушкин в случаях с Наполеоном и Пугачевым (современники событий 1812 г. нередко уподобляли одного другому) созерцал явления куда более масштабные, а главное — сохранившие в своем падении пусть заглушенную, извращенную память о священных жизненных истоках (или хотя бы только возможность обнаружить их существование). И в этом смысле Пушкин в своих поэтических откровениях и пророчествах выступал несравненно большим христианином, чем любой из нас, готовых только ликовать по поводу неизбежного посрамления и последующей гибели Наполеона в изгнании.

Сказанное имеет прямое отношение и к центральному персонажу «Евгения Онегина». Казалось бы, духовную природу этого героя вполне определенно проясняют и «механическое», будто во сне, убийство Ленского на дуэли, и открытия, сделанные Татьяной в опустев-

шем доме Евгения, и картины того эгоистического смятения, в котором находится он на протяжении всей «петербургской» восьмой главы романа. Всего же определеннее смертельную сущность Онегина раскрывает сон Татьяны: Евгений — предводитель бесовского застолья. В значительной степени этот сон соотносится с мистическим явлением Наполеона русскому царю из более раннего пушкинского стихотворения «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» (1824):

Мятежной Вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари [Пушкин 2. 1: 311].

А в развязке романа — объяснении Татьяны и Онегина — происходит наибольшее сближение истории с художественной картиной. Как уже было сказано, пушкинское «Она готовила пожар / Нетерпеливому герою» в равной степени может быть отнесено и к Наполеону перед Москвой и к Евгению у ног Татьяны. Согласование смыслов того и другого события выглядит едва ли не совершенным. Примечательно, что в вариантах XLV строфы восьмой главы романа у Пушкина первоначально прямо возник образ душевного пожара. Слова Татьяны:

...колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам [Пушкин 6: 154], —

заклучали в болдинском варианте главы намеченную возможность иного развития. Татьяна готова была заговорить о своей ответной страсти. Было: «Предпочитаю этой страсти» [Пушкин 6: 635], — и далее две последовательно отвергнутых строки: «Пылающей по вашей власти» и «Вспылавшей вдруг по вашей власти» [Пушкин 6: 635]. Здесь поражает не только то, как законченная строфа буквально «взлетает» над первоначально написанной, но и то, как тема пожара, уходя в подтекст, обретает духовную силу и многомерность. Разумеется, исторический пожар Москвы — это лишь своего рода развернутая (трудно поверить, что непреднамеренная) метафора художественной сцены.

Тем не менее, она наполняет все происходящее священным смыслом «великодушного пожара» (несмотря на то, что это не «онегинская», а более ранняя формула).

Онегин и его герой — Наполеон тут, безусловно, повержены, и Пушкин не может не сочувствовать наступившему воздаянию. Однако «московская» тема великодушия как самоотречения, праведного страдания, тоже получает здесь наиболее полное свое выражение. «В решительный момент испытания, — согласно точному замечанию Т. И. Радомской, — поэт подчеркивает в образе героини ее стремительное движение от себя и Онегина к Богу, не озираясь назад. Такой путь — от неосознанного стремления к прекрасному Божьему миру до бесповоротного следования за своим крестом совершает любимая героиня Пушкина» [Радомская: 191].

Но Татьяна, отвергая Онегина, совершает еще и великий акт милосердия, искупления. И так же, как горела Москва 1812 г., любящая Онегина героиня горит не сгорая, и как знать, не возлагает ли она на себя тяжесть онегинских грехов (даже в том случае, если Евгений принес покаяние за убийство Ленского, во что, конечно же, трудно поверить). И прав был В. С. Непомнящий, когда писал, что Татьяна отвергает Онегина не для себя — для него, отвергает именно потому, что любит [Непомнящий: 402]. Так же, как Москва отвергала Наполеона с его разноплеменным войском, отвергала антихристианскую Европу, позабывшую о своих великих истоках. И было в этом отторжении свидетельство силы и правды Христовой, самой чистой жертвенной любви.

Одно из наиболее глубоких прочтений финала «Евгения Онегина» принадлежит Ю. В. Лебедеву, который увидел здесь возможность будущего преображения героя: «Все дело в том, что за светской развращенностью, беспочвенностью и опустошенностью “онегинства” Татьяна прозревает в Онегине не вполне осознанное им самим духовное ядро, опираясь на которое он может развернуть свою жизнь в другую, прямо противоположную сторону. Татьяна любит в Онегине то, что он сам в себе еще не понял и не раскрыл» [Лебедев: 257]. И духовная логика развязки романа постоянно находится в соприкосновении с духовным смыслом русской истории.

Надменный! кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?

Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум? —

говорилося в пушкинской оде «Наполеон» [Пушкин 2. 1: 215].

Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом? —

скажет Онегину Татьяна [Пушкин 6: 188].

Эти две строки появились у Пушкина в 1831 г. как замена написанного ранее в Болдине: «Подите... полно... Я молчу... / Я вас и видеть не хочу», — и вместили в себе огромное содержание. Нужно признать, что на протяжении всего романа у читателя возникало не так уж много поводов заподозрить в пушкинском Онегине великий ум и тем более великое сердце. Может быть, слова Татьяны продиктованы только памятью о девической влюбленности? Но скорее силой жертвенной христианской любви Татьяна действительно различает в герое помраченные задатки незаурядной личности (которые справедливости ради на протяжении всего романа были намечены у Пушкина отдельными штрихами). И одновременно со своей духовной высоты Татьяна прозревает истинную природу завладевшей Онегиным страсти — и знает ей цену: мелкое чувство, не более. Можно даже сказать, что эта страсть — самое полное выражение онегинского недуга, что герои только ближе оказались теперь к вечно непримиримым полюсам бытия: Татьяна — к духовному полюсу света, Онегин — к вечно чувственному полюсу тьмы.

Тем определеннее неумолимый смысл происходящего — торжество Татьяны и катастрофа Евгения. Но это, возможно, и последний предел в развитии онегинского самовластья — остановленного и затем обращенного вспять. Что последует дальше? Будет ли то крушение во благо или неизбежно окончательное падение? Разве не в таком же фокусе виделся Пушкину и прославленный в истории «могучий баловень побед»? С той лишь разницей, что история уже раз и навсегда определила исход наполеоновской эпопеи.

Среди многочисленных памятников эпохи 1812 г. есть несколько ярких воспоминаний, где, в частности, говорится о том, как вел себя французский император перед лицом неожиданных для него москов-

ских разочарований. Первое такое свидетельство принадлежит русскому чиновнику Корбелецкому, захваченному в плен и по каким-то соображениям оставленному Наполеоном при своей особе. Он наблюдал императора 2 (14) сентября в момент получения известия о том, что Москва оставлена жителями. «Таковая нечаянная весть, — писал Корбелецкий, — казалась, поразила и самого Наполеона, как громовым ударом. Он приведен был в чрезвычайное изумление, мгновенно произведшее в нем некоторый род исступления или забвения самого себя» [Корбелецкий: 27–28].

Воспоминания Корбелецкого с большой долей вероятности были известны Пушкину. Поэт определенно читал и ставшие знаменитыми мемуары графа Ф. де Сегюра (одно из первых изданий книги находилось в его личной библиотеке), ярко изобразившие смятение Наполеона во время московского пожара. Здесь было описано, в частности, поведение императора в Кремле, окруженном стеной пламени: «Он не находил себе места, — каждую минуту вскакивал и садился. Он быстрыми шагами бегал по комнате, и во всех его жестах выражалось жестокое беспокойство». «Им владело, — замечал мемуарист, — такое сильное волнение, словно его пожирал тот самый огонь, который окружал его со всех сторон» [Ségur 2: 53].

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен! [Пушкин 6: 154] —

так заканчивалось повествование в романе.

Пушкин написал светский роман, однако его духовные смыслы, возвышаясь над смыслами социальными, сентиментально-психологическими, культурными, этнографическими, интеллектуальными (перечень можно продолжить), и будучи с ними вечно сопряжены, оказались поистине грандиозными. Тут явилась в полном объеме и красоте духовная Россия, которая, страдая — ликует, стора — расцветает, поражая — исцеляет. И оставаясь верной своей судьбе, предлагает всем, кто способен видеть и слышать — любящим ее и ненавидящим, единый жертвенный путь одоления мировой смуты.

Список литературы

Источники

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М.: Московский рабочий: 1985. 368 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Общество любителей российской словесности, учрежденное при Имп. Московском ун-те, 1863. Ч. 1. 710 с.

Корбелецкий Ф. И. Краткое повествование о вторжении французов в Москву и о пребывании их в оной. СПб.: В тип. Департамента внешней торговли, 1813. 85 с.

Кичеев П. Г. Воспоминания о пребывании неприятелей в Москве в 1812 году. М.: В Унив. тип., 1858. 121 с.

П...Ф... Некоторые замечания, учиненные со вступления в Москву французских войск (и до выбегу их из оной) // 1812 год в воспоминаниях современников. М.: Наука, 1995. С. 25–33.

Преосвященный Августин (Виноградский), епископ Дмитровский, викарий Московский. Слово по случаю знаменитой и вечно-славной победы, одержанной при Лейпциге российскими и союзными войсками <...>, произнесенное 1813 года ноября 2. М.: В Синодальной тип., 1813. 11 с.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: АН СССР. 1937–1959.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958. Т. 12. 428 с.

Ségur Ph. P. de. Histoire de Napoléon et de la grande-armée pendant l'année 1812. Paris: Baudouin Freres, 1824. Vol. 2. 480 p.

Исследования

Гулин А. В. Поэзия восторга и любви // Бородинское поле: 1812 год в русской поэзии. М.: Детская литература, 2012. С. 5–42.

Кожевников В. А. «...Сожж[<]ена» X песнь». Шифрованные строфы «Евгения Онегина». К проблеме так называемой Десятой главы романа // *Кожевников В. А.* Избранное: статьи, переводы, комментарии. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. С. 206–233.

Лебедев Ю. В. Художественный мир А. С. Пушкина и русская мысль // Филология и школа: Труды всероссийских научно-практических конференций «Филология и школа». М.: ИМЛИ РАН, 2003. Вып. 1. С. 220–259.

Непомнящий В. С. Книга, обращенная к нам // *Непомнящий В. С.* Удерживающий теперь: Пушкин в судьбе России. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та, 2022. С. 360–408.

Позов А. С. Метафизика Пушкина. М.: Наследие, 1998. 320 с.

Пумпянский Л. В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 204–215.

Радомская Т. И. Обретение Отечества: Русская словесность первой половины XIX века. М.: Совпадение, 2004. 654 с.

Романова А. Н. «Евгений Онегин» // *Гулин А. В., Романова А. Н., Федоров А. В.* Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. М.: Русское слово, 2019. Ч. 1. С. 327–374.

References

Gulin, A. V. “Poeziiia vostorga i liubvi” [“Poetry of Delight and Love”]. *Borodinskoe pole: 1812 god v russkoi poezii* [Borodino Field: 1812 in Russian Poetry]. Moscow, Detskaia literatura Publ., 2012, pp. 5–42. (In Russ.)

Kozhevnikov, V. A. “‘...Sozhzh^{ena} X pesn”. Shifrovannye strofy мьитрольЕвgeniia Onegina’. K probleme tak nazyvaemoi Desiatoi glavy romana” [“‘...Burn^{ed} X Song.’ The Encrypted Stanzas of ‘Eugene Onegin.’ To the Problem of the So-called 10th Chapter of the Novel”]. Kozhevnikov, V. A. *Izbrannoe: Stat’i, perevody, kommentarii* [Selected Articles, Translations, Comments]. Moscow, St. Petersburg, Nestor-Istoriia Publ., 2017, pp. 206–233. (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. “Khudozhestvennyi mir A. S. Pushkina i russkaia mysl’” [“The Artistic World of A. S. Pushkin and Russian Thought”]. *Filologiiia i shkola: Trudy vsrossiiskikh nauchno-prakticheskikh konferentsii ‘Filologiiia i shkola’* [Philology and School: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conferences “Philology and School”], issue 1. Moscow, IWL RAS Publ., 2003, pp. 20–259. (In Russ.)

Nepomniashchii, V. S. “Kniga, obrashchennaia k nam” [“The Book Addressed to Us”]. Nepomniashchii, V. S. *Uderzhivaiushchii teper’: Pushkin v sud’be Rossii* [Holding Now: Pushkin in the Fate of Russia]. Moscow, Orthodox St. Tikhon’s University for Humanities Publ., 2022, pp. 360–408. (In Russ.)

Pozov, A. S. *Metafizika Pushkina* [Pushkin’s Metaphysics]. Moscow, Nasledie Publ., 1998. 320 p. (In Russ.)

Pumpianskii, L. V. “Ob ischerpyvaiushchem delenii, odnom iz printsipov stilia Pushkina” [“On Exhaustive Division, One of the Principles of Pushkin’s Style”]. *Pushkin: Issledovaniia i materialy* [Pushkin: Research and Materials], vol. 10. Leningrad, Nauka Publ., 1982, pp. 204–215. (In Russ.)

Radomskaia, T. I. *Obretenie Otechestva: Russkaia slovesnost’ pervoi poloviny XIX veka* [Finding the Fatherland: Russian Literature of the First Half of the 19th Century]. Moscow, Sovpadenie Publ., 2004. 654 p. (In Russ.)

Romanova, A. N. “Evgenii Onegin” [“Eugene Onegin”]. Gulin, A. V., A. N. Romanova, and A. V. Fedorov. *Literatura. 9 klass: uchebnik dlia obshcheobrazovatel’nykh organizatsii* [Literature. 9th Grade: Textbook for General Education Organizations], part 1. Moscow, Russkoe slovo Publ., 2019, pp. 327–374. (In Russ.)